

© 2015 г.

В.С. МИРЗЕХАНОВ

XIX век В МИРОВОЙ ИСТОРИИ (к выходу V тома “Всемирной истории”)

Кризис больших объяснительных моделей общественного развития (не только исследовательский, но и политический – распад социалистической системы и Советского Союза), успехи французской постмодернистской философии и североамериканской “критической теории” 1970-х годов вызвали к жизни целый ряд исследовательских подходов, самая суть которых отрицала возможность больших обобщений. Только примерно в последние полтора десятилетия историки по всему миру начинают возвращаться к большим темам, по-новому говоря о значимости исторического знания для поиска ответов на ключевые вопросы о путях развития человечества.

Микроисторический масштаб сегодня не всегда устраивает ученых. Исследователи, в частности, ставят задачи “транснациональной”, или “глобальной” истории. Ее цель – изучение явлений, которые невозможно замкнуть в пределах национальных историй и государственных границ¹. По-новому звучат призывы к сравнительной истории², к истории “большой длительности” и применению количественных методов. Стремится примирить броделевскую “большую длительность” и фукольдскую “прерывность” французский историк поздней античности Э. Энгльбер, завершая свое объемное исследование представлений о “всеобщей истории” от Месопотамии до наших дней призывом писать “хроники миров”, которые отличались бы от существующих “всемирных” и “глобальных” историй принципиальной множественностью углов зрения и отказом как от “регионо-”, так и от “хроноцентричности”. Достижения естественных наук обогатили макроисторические исследования, что позволило поставить

Мирзеханов Велихан Салманханович – доктор исторических наук, профессор, руководитель отдела истории Европы XVIII–XIX вв. Института всеобщей истории РАН. Статья написана при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант 15-18-00135.

Выражаю благодарность к.и.н. А.А. Исэрову за подготовку 1–3 страниц данной статьи.

¹ См.: *Iriye A.* Global History. – Palgrave Advances in International History. Houndmills, 2005, p. 320–344; *Idem.* The Transnational Turn. – Diplomatic History, vol. 31, 2007, № 3, p. 373–376; AHR Conversation: On Transnational History. – American Historical Review, v. 111, 2006, № 5, p. 1440–1464. М. Вернер и Б. Циммерман недавно предложили термин “перекрестной истории” (gekreuzte Geschichte, l’histoire croisée, entangled history): *Werner M., Zimmermann B.* Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen. – Geschichte und Gesellschaft, Bd. 28, 2002, № 4, S. 607–636; *Idem.* Beyond Comparison. Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity. – History and Theory, v. 45, № 1, 2006, p. 30–50 (*Вернер М., Циммерманн Б.* После компаратива. Histoire Croisée и вызов рефлексивности. – Ab Imperio, 2007, № 2 (Политика сравнения), с. 59–90). Также см. De la comparaison à l’histoire croisée. Paris, 2004.

² См. обзор: *Haupt H.-G.* Comparative History – a Contested Method. – Historisk Tidskrift, v. 127, 2007, № 4, p. 697–716.

задачу “большой истории” – попытки обобщить эволюцию не просто человеческого общества, но и мира в целом, начиная от Большого взрыва, и человека в нем³.

Впрочем, еще Л. фон Ранке, утверждая, что простое “собрание историй народов в узких или широких рамках” еще не составляет “всемирную историю”, призывал к познанию эволюции тех крупных черт, которые связывают между собой воедино историю отдельных обществ⁴.

Во второй половине XX столетия подобные грандиозные задачи ставили перед собой, как правило, исследователи древнейшей истории, привыкшие к решению трудных проблем, – И.М. Дьяконов⁵, Г. Карпе-Мюллер⁶, Ю.И. Семёнов⁷, Л.С. Васильев⁸. Осмыслить всю историю человечества сквозь призму “цивилизаций” стремились А. Тойнби⁹ и У. Дюрант¹⁰. Более привычны коллективные всемирные истории. В нашей стране наиболее известна советская “Всемирная история”, выходящая в 1955–1965 гг. под редакцией академика Е.М. Жукова¹¹. Ее цель – как и оправдание всемирно-исторических исследований в Советском Союзе в целом – заключалась в создании полномасштабной марксистско-ленинской (а значит, подлинно научной, а не в лучшем случае “объективистской”) истории человечества¹².

На рубеже 1990–2000-х годов под эгидой ЮНЕСКО на английском, французском и русском языках была выпущена “История человечества”, в которой основное внимание уделено развитию культуры в широком смысле¹³. С большим трудолюбием выпол-

³ *Christian D. Maps of Time: An Introduction to Big History*. Berkeley (Ca.), 2004; *Diamond J. Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies*. New York, 1997 (рус. изд.: *Даймонд Дж. Ружья, микробы, сталь. Судьбы человеческих обществ*. М., 2010; *Radkau J. Natur und Macht: Eine Weltgeschichte der Umwelt*. München, 2000 (рус. изд.: *Радкау Й. Природа и власть: всемирная история окружающей среды*. М., 2014); *Harari Y.N. Sapiens: A Brief History of Humankind*. London, 2014 (ориг. изд. на иврите: Tel-Aviv, 2011). Ср. *Ионов И.Н. Проблемы современной макроистории. Статья 1. Шаг вперед, два шага назад? – Диалог со временем*, вып. 50, 2015, с. 34–58.

⁴ *Ranke L. von. Weltgeschichte*. 9 Teile in 16 Bänden. Leipzig, 1881–1888. “Всемирная история” стала последним трудом великого историка. К 1921 г. она выдержала четыре издания. См.: *Ibid.*, Bd. I, p. vii. До выхода многотомника Ранке важнейшей подобной работой была изданная в 1844–1856 гг. 19-томная “Всемирная история” Ф.Х. Шлоссера (1776–1861), которая была в 1874–1875 гг. дополнена О. Йегером (1830–1910), написавшим три тома по истории после Венского конгресса. Русский перевод труда Шлоссера, сделанный под руководством Н.Г. Чернышевского, вышел в 1868–1872 гг.

⁵ *Дьяконов И.М. Пути истории. От древнейшего человека до наших дней*. М., 1994 (2-е изд., испр.: М., 2007).

⁶ *Müller-Karpe H. Grundzüge früher Menschenheitsgeschichte*. Bd. 1–5. Darmstadt, 1998. Археолог, исследователь бронзового века Г. Мюллер-Карпе написал 10 томов всемирной истории, ведя повествование от палеолита до нашего времени, но издал только первые пять томов, завершающиеся событиями 2 в. до н.э.

⁷ *Семёнов Ю.И. Введение во всемирную историю*, вып. 1. Проблема и понятийный аппарат. Возникновение человеческого общества, вып. 2. История первобытного общества, вып. 3. История цивилизованного общества (XXX в. до н.э. – XX в. н.э.). М., 1997–2001.

⁸ *Васильев Л.С. Всеобщая история*, т. 1–6. М., 2007–2013.

⁹ *Toynbee A. A Study of History*, v. 1–12. Cambridge, 1934–1961 (наиболее полный перевод на русский язык: *Тойнби А.Дж. Исследование истории*, т. 1–3. СПб., 2006).

¹⁰ *Durant W., Durant A. The Story of Civilization*, v. 1–11. New York, 1935–1975.

¹¹ *Всемирная история*, т. 1–10. М., 1955–1965. В 1973, 1977, 1983 гг. были изданы дополнительные три тома, охватывавшие события 1945–1970 гг. Замысел создать советскую “Всемирную историю” восходил еще ко второй половине 1930-х годов. См., например: *Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Наука “убеждать”, или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е – начало 50-х гг. XX века)*. Тюмень, 2003, с. 50 слл.

¹² Ср. *Уваров П.Ю. Между “ежами” и “лисцами”*. М., 2015, с. 148–164.

¹³ Русское издание: *История человечества: научное и культурное развитие*, т. 1–8. М., 2003–2005. Особый 8-й том, изданный только по-русски, был посвящен России. Рецензии на отдельные тома см. в IV книге “Избранных произведений” С.Л. Тихвинского. Также см.: *Тихвинский С.Л. Завершение издания ЮНЕСКО “История человечества. Научное и культурное развитие”*. – *Новая и новейшая история*, 2006, № 4, с. 91–97.

нена белорусская “Всемирная история”, популярная в свое время среди студентов, но носящая, впрочем, компилятивный характер¹⁴.

В 2007–2008 гг. по замыслу директора Института всеобщей истории академика А.О. Чубарьяна началась работа над шеститомной “Всемирной историей”, издание которой идет с 2011 г.¹⁵ Автор этих строк с трудно скрываемами радостью и гордостью обнаружил, что свой шеститомник – всё же с небольшим запозданием от ИВИ РАН – начали публиковать два крупнейших научных издательства: мюнхенское “Beck” и “Harvard University Press”, обладающие в наши дни несравнимо большими возможностями, чем академическая “Наука”. Редакторами этой “Истории мира” (Geschichte der Welt / A History of the World) стали профессор Университета Констанца Ю. Остерхаммель, автор важнейшей обобщающей работы по XIX столетию, и выходец из Японии, североамериканский историк международных отношений, один из основоположников “международной” (интернациональной) и “транснациональной” истории А. Ирие¹⁶.

Только что вышедший в свет пятый том “Всемирной истории” посвящен ключевым проблемам “долгого” XIX века – с его возросшей плотностью глобальных макропроцессов – от Великой французской революции до Первой мировой войны: промышленной революции, урбанизации, научно-техническому прогрессу и экономическому росту, становлению современных политических институтов гражданства, конституционализма и парламентаризма и современных идеологий либерализма, консерватизма, социализма, национализма, колониальному переделу мира и невиданному в истории господству Европы и ее переселенческих колоний.

Говоря об этих макропроцессах, легко впасть, используя замечательное определение Г. Баттерфилда (1931), в “вигскую интерпретацию истории” и нарисовать проникнутое телеологией полотно победы нового над Старым порядком. Но “вигская интерпретация”, столь близкая многим политикам, журналистам и авторам школьных учебников, – враг настоящего исторического познания. Чтобы показать сложность XIX в. как целого, достаточно трех примеров. Когда завершалось столетие, которое часто называют “веком национализма” – национальных движений, подавляющее большинство населения земли были подданными империй: Британской, Цин (Китай), Российской, Французской, Австро-Венгерской. Становление промышленного капитализма, по самому определению, казалось бы основанного на вольном найме, оказалось невозможно без плантационного рабства. Если вспомнить о крепостничестве, “за-контрактанных слугах” и пеонах, то станет понятен смысл высказывания К. Бэйли о “бабьем лете принудительного труда” в первой половине столетия. Наконец, даже перед самой Первой мировой войной в век угля и металлургии аграрные страны – переселенческие колонии – Австралия, Новая Зеландия, Канада, Аргентина, Уругвай – стояли

¹⁴ Всемирная история, т. 1–24. Минск, 1996–1997 (2-е изд.: М., 2000–2003).

¹⁵ Всемирная история. Гл. ред. А.О. Чубарьян. Т. 1. Древний мир. Отв. ред. В.А. Головина, В.И. Уколова. М., 2011; т. 2. Средневековые цивилизации Запада и Востока. Отв. ред. П.Ю. Уваров. М., 2012; т. 3. Мир в раннее Новое время. Отв. ред. В.А. Ведюшкин, М.А. Юсим. М., 2013; т. 4. Мир в XVIII веке. Отв. ред. С.Я. Карп. М., 2013; т. 5. Мир в XIX веке: на пути к Индустриальной цивилизации. Отв. ред. В.С. Мирзеханов. М., 2014. Заключительный том “Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций” (отв. ред. А.О. Чубарьян) готовится к изданию в 2015 г.

Наиболее подробные рецензии на первые два вышедшие тома см.: Средние века, 2013, вып. 74 (1–2), с. 316–353 (авторы: Д.Д. Беляев, Л.Р. Хут, С.А. Васютин). Стенограмма обсуждения третьего тома, состоявшегося в ИВИ РАН 11–12 декабря 2013 г., см.: Средние века, 2014, вып. 75 (3–4), с. 324–386.

¹⁶ Weltmärkte und Weltkriege, 1870–1945. München, 2012 (англ. версия: A World Connecting: 1870–1945. Cambridge (MA.), 2012); 1945 bis Heute: Die globalisierte Welt. München, 2013 (англ. версия: Global Interdependence: The World after 1945. Cambridge (MA), 2014); Weltreiche und Weltmeere, 1350–1750. München, 2014 (англ. версия готовится к изданию в середине 2015 г.).

в списке самых богатых стран мира в расчете на душу населения рядом с индустриальной Великобританией.

Э. Хобсбаум в своей трилогии, в основном все же оставаясь в рамках Европейского континента, пишет о роли двух революций – Великой французской и промышленной – в становлении основных черт эпохи¹⁷. Упомянутый К. Бэйли скорее подчеркивает силу Старого порядка в “долгом девятнадцатом веке”¹⁸. Книга Бэйли, впрочем, – в большей степени глубокое и яркое собрание очерков, нежели полноценная история. Широкою, но одновременно по возможности предельно нюансированную и изобилующую деталями картину столетия стремится создать Ю. Остерхаммель. Пытаясь представить век во всей его полноте и сложности, Остерхаммель в своем внушительном томе, по сути, одновременно описывает и состояние исследований на основных европейских языках по тому или иному сюжету¹⁹.

Наши подходы к осмыслению истории “долгого девятнадцатого века” представлены во введении V тома “Всемирной истории”.

XIX ВЕК В МИРОВОЙ ИСТОРИИ: ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ, МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ

Говоря о XIX веке, мы сразу задумываемся о содержании этого понятия: был ли XIX век лишь изобретением историков или это модель исторического времени – элемент самосознания человечества? Как “конструировался” XIX век, с чем его ассоциировали современники и потомки, справедливо ли называть его, как когда-то, “веком капитала”? Быть может, уместнее определения “век ускорения”, “век прогресса”, “век научного разума”? Или он был в первую очередь “веком революций”, “веком социальных конфликтов”, “веком избавления от рабства”?

Эпохи отличаются одна от другой во времени, как страны в пространстве, и когда говорится о XIX веке, мы представляем себе, каждый по-своему, какое-то цельное, яркое, динамичное, сравнительно благополучное время, резко отличающееся от того, что было до, и от того, что настало после. Не подлежит сомнению, что у XIX века была своя уникальность, позволяющая отличать его от других столетий. Временной континуум XIX века осознается как эпоха вхождения в современность. Понятие “XIX век” связывается с опытом ускорения времени и ассоциируется с модерностью/современностью как антиномией вечности²⁰. Следует иметь в виду, что название этого века, его нумерация, берет начало в христианской системе исчисления времени, и данное обстоятельство не раз побуждало историков задаваться вопросом, был ли XIX век у мусульманских народов, у китайцев, у индусов и многих других, живущих за пределами западного мира. И если признать такую идею, то не будет ли тогда правильнее говорить об этом столетии как исключительно “веке Европы”, “веке Запада”, “веке подъема германского духа”, “веке британского могущества”? Однако сегодня существует всё больше свидетельств того, что не только Европа, но и остальной мир всегда пребывали в пространстве исторического процесса, следовательно, не вполне верно говорить, что “пробуждение Азии” началось только в XX в. Благодаря всё новым источникам ученые с некоторым удивлением продолжают “открывать” наличие истории, а значит и XIX век повсюду, даже там, где не было письменности – в царстве “печальных тропиков” и на заброшенных островах Тихого океана.

¹⁷ *Hobsbawm E.* The Age of Revolution, 1789–1848. London, 1962; *idem.* The Age of Capital, 1848–1875. London, 1975; *idem.* The Age of Empire, 1875–1914. London, 1987. Русский перевод вышел в Ростове-на-Дону в 1999 г.

¹⁸ *Bayly C.A.* The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons. Malden (MA), 2004.

¹⁹ *Osterhammel J.* Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München, 2009.

²⁰ *Bayly C.A.* Op. cit., p. 9–12.

Если признать, что история – не только удел великих персонажей, но и вся та почти неподвижная повседневность материальной жизни, которая традиционно скрывалась от глаз летописцев и архивариусов, то у всякого века, в том числе девятнадцатого, должно присутствовать и данное измерение. При таком понимании истории XIX век – еще и “век пара и электричества”, “век телеграфа и железных дорог”, “век скоростных сообщений”, “век фотографии”. Но, кроме того, это “век стали и чугуна”, “век химических удобрений и травосеяния”, “век новых продуктов питания и новых лекарств”, если иметь в виду хинин, благодаря которому европейцам удалось совладать с малярией и начать экспансию в жаркие страны.

Наше современное понимание XIX столетия является многомерным, причем мы не ощущаем этот век как иной/прошедший, не воспринимая его как отчужденное прошлое. XIX век кажется близким, понятным и данным нам почти что в ощущениях. Мы пытаемся схватить его суть, имея в виду огромное множество черт этого времени, столь значимых и для тех, кто в нем жил, и для тех, кто пришел в него потом. Уникальная природа века проистекает из его невиданного разнообразия и, конечно же, из того, что наша связь с этим веком все еще сохраняется. Мы связаны с ним благодаря бесчисленным родословным ныне живущих людей, благодаря нашему языку, нашим обычаям и нашей вере, а также нашей памяти, которая все еще продолжает цепляться за этот век с помощью семейных фотоальбомов, тех песен, что пели наши прапрадеды, и тех заветов, что они читали. Но время идет, безжалостно ослабляя эту тонкую связь. Поэтому каждый взгляд в это недавнее прошлое позволяет удерживать его перед собой как некий целостный образ, как символ, без которого наше понимание собственного настоящего и самих себя будет неполным.

История “глобального XIX века” требует прояснить исследовательские отношения с “веком” как аналитической категорией. Когда начался и когда закончился XIX век? Если отвечать на этот вопрос, не привязываясь к календарным датам, возможно, придется взять более значимые исторические ориентиры.

В глобальной перспективе еще труднее, чем только для России или Европы, установить содержательное, а не только формально-календарное начало XIX в., в ходе которого формировались и обретали нормативную силу несущие элементы и практики модерна в мире. Если даже в определении различных эпох европейской истории не существует единого мнения, то задача создания периодизации мировой истории представляется еще более сложной. Политические даты вряд ли могут здесь помочь. До XX в. ни один год не стоит рассматривать как эпохальный для всего человечества. Можно представить Великую французскую революцию ретроспективно как событие универсального воздействия на последующую историю, но с точки зрения воздействия на жизнь неевропейских обществ она не была переломным событием. *Политическое* начало XIX века, следовательно, невозможно фиксировать хронологически. С некоторого исторического расстояния момент, когда начинается XIX век, видится несколько рассредоточенным во времени. В какой-то мере то же самое можно сказать и о его финале. Картина усложняется, если добавить еще одну переменную. Крайне сложно вписать периодизацию, взятую из политической истории, в хитросплетение периодизаций других полей прошлого, связанных с политикой, – религии, искусства, идей, общества, экономики²¹.

В 1800 г. единый календарный порядок еще не имеет обязывающего характера, системы организации времени в мире весьма разнообразны. На фоне такой “подвижности” календарных порядков власть чисел уже не очевидна, а календарные границы исторического времени оказываются, скорее, спорным моментом, чем единственной правомерной точкой отсчета²².

²¹ *Остерхаммель Ю.* Трансформация мира: История XIX века. Главы из книги. – *Ab Imperio*, 2011, с. 35, 38.

²² *Ананьева А.В.* “Долгий XVIII век”: характерные черты периодизации вне календарной хронологии и применение концепта к российской истории. – *Изобретение века. Проблемы и модели времени в России и Европе XIX столетия.* М., 2013, с. 320.

XIX век, как и любой другой, представляется структурой, состоящей из напластованных множества разновременных процессов. Там есть идеологические, политические и культурные слои, которые проходят через все столетие, соединяя его с XVIII в. и выводя прямо в XX в. Но попадают и другие, прерванные, наложившиеся друг на друга, “переплетенные” между собой (Р. Козеллек). Для того чтобы охватить все эти разнообразие слои, необходимы самые гибкие эвристические инструменты: это в равной степени относится и к вопросу периодизации, и к жестким цезурам между эпохами, основанным на произвольных, неочевидных обстоятельствах, событиях и ориентирах²³.

В историографической традиции последних десятилетий XIX в. предстает в удлиненной и укороченной версиях, “долгим” и “кратким”, “длинным” и “коротким” (начиная с 1776, 1789, 1815 и даже 1848 г. и заканчивая, как правило, но не всегда, 1914 г.). Так, Ю. Остерхаммель в своем труде “Преобразование мира. История XIX века” заканчивает век 1918-м годом.

При этом XIX в. не получил особого обозначения, подобно своему предшественнику, вошедшему в историю как “век Просвещения”. Мы имеем дело с безымянным, фрагментированным веком, неким затянувшимся переходным периодом между предшествующим и последующим столетиями, которые, как считается, имеют более отчетливые контуры. Э. Хобсбаум, который написал одну из лучших обзорных историй Европы со времен Великой французской революции, не дает этому столетию – в его интерпретации “длинному” – какого-либо всеобъемлющего названия, но разделяет на три эпохи: эпоху революции (1789–1848), эпоху капитала (1848–1875) и эпоху империи (1875–1914)²⁴. В случае XIX в. малосодержательность крайних дат подчеркивает формальность их выделения. Ни календарное начало, ни календарное окончание века не совпадают с глубокими историческими цезурами. XIX век выступает предысторией современности. Трансформации, которые начались в XIX в. и были для него характерны, за редкими исключениями, радикально прервались в 1914 г. Поэтому XIX век со всеми указанными оговорками вполне может считаться “долгим веком”. И в этом смысле он чем-то повторяет восемнадцатый, который тоже остался в исторической памяти как век, длившийся дольше отмеренного ему календарем. Концепция “долгого XIX века” имеет свои плюсы и минусы. Исходя из контекста глобальной истории, внешние границы динамического поля “долгого XIX века” могут быть определены 1789 и 1914 годами. Великая Французская революция и Первая мировая война представляют собой главные вехи для контекстуализации имперской и национальной перспективы в европейской и глобальной истории XIX в. Эта историческая эпоха озаглавлена утверждением капиталистических отношений и стандартов классического модерна. “Долгий XIX век” олицетворяет буржуазное общество, национальную государственность, имперские системы, индустриальные производственные отношения, техническую и интеллектуальную рационализацию, инновационное и прогрессистское мышление.

Представление о “долгом веке” подразумевает периодизацию исторического времени вне календарных границ одного столетия. Такая концепция подчеркивает эпохальный характер некоего отрезка времени, зафиксированного только формальным образом. Она изначально отличается критическим характером, ее применение связано с проверкой устоявшихся категорий и принципов обобщения больших хронологических единиц прошлого²⁵. В этом контексте сама идея “долгого XIX века” предполагает акцент на динамичности, разнонаправленности и – отчасти – на парадоксальности процессов развития, характерных для данного периода. Необходимым условием наблюдения становится всемирная перспектива, побуждающая к глобальному взгляду на феномены, события и действующих лиц.

²³ Филлафер Ф.Л., Сурман Я. Габсбургский XIX век? – Изобретение века, с. 209–210.

²⁴ Hobsbawm E. The Age of Revolution, 1789–1848. *idem*. The Age of Capital, 1848–1875; *idem*. The Age of Empire, 1875–1914.

²⁵ Ананьева А.В. Указ. соч., с. 320.

Предложенные выше хронологические и событийные отметки на шкале “долгого XIX века” касаются в первую очередь таких областей, как политика, идеология, международные и межгосударственные отношения. Проверить и продлить этот аргументативный ряд следует по отношению к экономике, институтам власти и социальному устройству в целом; помимо этого, необходимо обратить особое внимание на повседневные практики, чтобы более широко охватить социальные формации этого времени.

Концепт “долгого XIX века” предполагает не столько когерентность эпохи, сколько внимание к динамике развития: речь идет о поиске “непрерывностей” в истории “переходов и трансформаций”. В этой связи следует выделить следующие моменты.

Сама идея расширенного XIX столетия подразумевает “множественность модерностей”²⁶. “Долгий XIX век” охватывает как “прогрессивные”, так и “консервативные” сценарии, которые разрабатывались и успешно реализовывались в различных формах на всех континентах. Понятие “долгий XIX век” облегчает поиск системы координат для маркировки динамического поля возникновения “современности”. Это дает возможность уточнить характеристику исторических феноменов – их дублирование, асинхронность одновременного или гетерогенность вместо гомогенных, задающих ценность описаний²⁷.

Около 1800 г. современниками были предварительно сформулированы основные способы восприятия и картины мира модерна. Центральными идеями временной модели и в XIX в. остаются цивилизация, просвещение и прогресс. Восемнадцатый век вырастает в девятнадцатый и создает определенный баланс ожиданий. Век Просвещения предстает здесь как своего рода лаборатория модерна. Проектировались и обсуждались модели нового, которые в следующем веке осмыслены как “современность”²⁸. Сравнение темпоральных моделей взаимосвязанных веков обнаруживает кардинальное отличие в понимании ритма времени. В “политическом времени” XVIII в., призванном поддерживать стабильность Ancien Régime, было невозможно “спешить”, “отставать” или “опаздывать”. Для следующего столетия характерна динамическая модель: хребтом века становится прогресс вместо статической модели Просвещения, в XIX в. всё приходит в движение, и желающим не отстать от прогресса предлагается “вскакивать на подножку”; парадигма “догнать” и “перегнать” вызывает фрустрацию от недостижимости этой цели²⁹.

Не следует, однако, слишком наивно пускаться в поиски переломных эпох и исторических сдвигов. То, что всемирная история еще в меньшей степени, чем истории наций или континентов, поддается “нарезке” на выверенные с точностью до года временные сегменты – факт более чем очевидный. Границы эпох различаются не с помощью глубокого понимания их объективного “смысла” – они проявляются во взаимоналожении многочисленных более тонких сеток времени. Поэтому наряду с грубыми делениями на эпохи не меньший интерес представляют тонкие периодизации (Ю. Остерхаммель). Их необходимо создавать для каждой пространственной единицы, для каждого человеческого общества и для каждой сферы бытия – от истории окружающей среды до истории искусства. Такие хронологии нужны как для ориентации непрофессионального исторического сознания, так и в качестве аналитических инструментов историков³⁰.

Ф. Бродель в созданной им теории исторических времен подчеркивал, что восприятие временных категорий и оценка быстроты или медленности того или иного

²⁶ См. Eisenstadt S.N. Multiple Modernities. – Daedalus, v. 129, 2000, p. 1–31.

²⁷ Апаньева А.В. Указ. соч., с. 327.

²⁸ Вишленкова Е.А., Сдвижков Д.А. Наш XIX век: ощущения и модели времени. – Изобретение века, с. 10.

²⁹ Сдвижков Д.А. Изобретение XIX века. Время как социальная идентичность. – Там же, с. 38.

³⁰ Остерхаммель Ю. Указ. соч., с. 58.

процесса зависят от подходов и исследовательских задач историка. В модусе “событийной истории” возможно описание сражения по минутам и часам, а изменения в истории климата реально проследить только в масштабах столетий, тысячелетий.

Следует учитывать, что в фокусе всемирной истории часто находятся необычайно долговременные цепи взаимосвязей. Индустриализация, например, может датироваться для отдельно взятых европейских стран несколькими десятилетиями. Напротив, как глобальный процесс она продолжается и по сегодняшний день. Однако нарратив всемирной истории наряду с такого рода широкими временными отрезками подразумевает в ряде случаев и скрупулезный отсчет – по годам, месяцам, дням, часам и даже минутам. Надлежит использовать временные параметры эпох, отдавая себе отчет в скорости и направлении изменений. Исторические процессы разыгрывались не только внутри различных временных рамок. Их нельзя просто разделить на короткие, средние и длительные. Они различаются также в зависимости от того, как протекают: последовательно или прерывисто, совокупно или разрозненно, обратимо или необратимо, с постоянным или меняющимся темпом. Можно выделить повторяющиеся процессы и имеющие неповторимый характер. “Особенно интересны те трансформационные процессы, – отмечает Ю. Остерхаммель, – которые рождают последствия в пространстве между несколькими категориальными полями, различаемыми историками: воздействия окружающей среды на социальные структуры или воздействия специфики менталитета на экономическое поведение”³¹.

Таким образом, необходимо признать, что календарное течение времени и исторический взгляд на время могут не совпадать. Поэтому вопрос о начале и конце XIX в., даже при самых первых попытках дать на него ответ, предполагает отступление от простой хронологии и решается множеством различных способов. Всякий исторический взгляд на временные пределы этого столетия будет всего лишь результатом очередного более или менее широкого консенсуса по этому вопросу.

Характеризуя XIX в., Ф. Бродель отмечал: “Это был грустный, полный драматических событий и гениальный век. Грустный, если думать об уродливости повседневной жизни в нем; драматический, если помнить о чередующихся его восстаниях и войнах; гениальный, если иметь в виду научно-технический и даже социальный (хотя и в меньшей степени) прогресс, ознаменовавший данное столетие”³².

Такой прогресс (при всей его неравномерности в различных сферах) неразрывно связан с индустриализацией. Она, в свою очередь, также не происходила одновременно: наряду с современными везде оставались традиционные секторы экономики. В XIX в. благодаря сдвигам в экономике, росту участия населения в политических процессах традиционные жизненные уклады подвергались пересмотру. В то же время эти перемены совершались на локальном, региональном и глобальном уровнях с весьма разной скоростью. Даже в Европе большие территории долгое время оставались лишь в минимальной степени или вовсе не затронуты такими процессами.

Именно поэтому уже в названии данного тома “Всемирной истории”, “Мир в XIX веке: на пути к индустриальной цивилизации”, мы постарались отразить идею длительности и асинхронности индустриальных и социальных преобразований в разных частях света.

В XIX в. на смену аграрной цивилизации пришла индустриальная (сами термины “индустриальный” и “индустриальное общество” впервые были сформулированы А. де Сен-Симоном, а затем получили широкое распространение благодаря работам Ж.-А. Бланки, О. Конта и Г. Спенсера), что до предела обострило политические конфликты и социальные противоречия. Мы будем говорить об “индустриальном обществе” и об “индустриальной цивилизации” как о понятиях, описывающих разные аспекты одной и той же экономической реальности. Кроме того, термин “индустриальная цивилизация” наиболее точно отражает видение мира XIX в. современниками.

³¹ Там же, с. 58–59.

³² Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М., 2008, с. 377.

Переход аграрного общества к индустриальному повлек за собой глобальные экономические, технологические, демографические, социальные и культурные перемены.

Капитализм стал основным укладом экономики и преобразил образ жизни во всем мире. Промышленная революция изменила мировую экономику, появилось глобальное разделение труда. Она подорвала основы доиндустриальной экономики, которая держалась на экономической мощи аристократии, владевшей землей – главной ценностью аграрного общества. С победой промышленной революции окончательно утвердились рыночная экономика и капитализм. Индустриальная революция закрепила и упрочила торговое и военное превосходство Европы над остальным миром.

Индустриализация и промышленная революция породила новые вызовы, на которые многие страны ответили масштабными реформами, обернувшимися переменами во всех сферах общественной жизни. Ликвидация крепостничества в России, Гражданская война и отмена рабства в США, революция Мэйдзи в Японии, создание первого британского доминиона в Канаде, эпоха Рисорджименто в Италии, объединение Германии – все эти события изменили картину мира и соотношение сил в нем.

XIX век продолжил борьбу со Старым порядком, начатую Великой французской революцией. По словам А. де Токвиля, эта революция не имела территории: она породила цепную реакцию революций первой половины XIX в. далеко за пределами самой Франции и даже Европы. К середине столетия в мире появляется новый политический и идеологический ландшафт, в рамках которого сосуществовали и боролись друг с другом либерально-демократические, консервативные, социалистические, анархистские течения и общественно-политические образования.

Революции 1848–1849 гг. завершили демонтаж институтов Старого порядка в передовых странах Европы, и с середины столетия начинается “буржуазная эпоха”. Однако революции XIX в. не всегда оказывались “локомотивами истории”, о которых говорил К. Маркс. Известны примеры и консервативных, антимодернистских движений, отбрасывавших страны в прошлое.

После бурного 1848 г. в странах Европы и Америки утверждаются принципы правового государства, верховенства закона, политических свобод и свободы предпринимательства. Во второй половине века меняется тон и смысл политических баталий, революционные волны пошли на спад, им на смену пришли легальные формы борьбы за социальные реформы и политическую либерализацию.

Разрушение Старого порядка продолжилось путем реформ, которые позволяли избежать насилия при решении экономических и социальных проблем. Выбор инструмента модернизации общества – революции или реформ – зависел не только от соотношения традиционного и современного укладов. Он определялся и готовностью элит к компромиссам, и степенью радикализации социальных низов, и, конечно, способностью государственных институтов адекватно реагировать на вызовы эпохи.

XIX век по праву считается “золотым веком” мировой культуры. Радикально изменились культурные стандарты и культурные практики. Развитие системы образования резко увеличило количество грамотных людей, благодаря успехам промышленной революции вырос жизненный уровень населения. Сокращение продолжительности рабочего дня привело к тому, что у многих людей, прежде всего горожан, появился досуг. Именно в городах сложились условия для того, чтобы масса людей, а не только образованная элита, приобщалась к культурной жизни. Появилось новое историческое явление – массовая культура. Большинство образованных горожан стали читателями, посетителями выставок, зрителями в театрах. В середине XIX в. Британский музей, где собраны сокровища мирового искусства, по выходным дням посещали более 30 тыс. чел.

В аграрной цивилизации мировоззрение людей, их вкусы и потребности во многом определялись традицией. В индустриальном обществе важную роль в формировании общественного сознания стали играть средства массовой информации. Тиражи газет и журналов многократно выросли, любое событие культурной жизни приобретало, таким образом, общественную значимость. С появлением массовой культуры писатели,

художники, артисты, журналисты стали более независимы от вкусов и покровительства представителей элиты. Они стали частью быстро растущего среднего класса.

XIX век изменил отношение к человеческой личности, к индивиду. Вместо подданных, делившихся на сословия с разными правами и обязанностями, появились граждане, равноправные политически (через развитие системы всеобщего избирательного права) и юридически. Однако имущественное неравенство по-прежнему существовало, более того, углублялось по мере развития капитализма.

Пятый том построен в двойной перспективе. С одной стороны, обобщенная картина мира дается через описание экономического развития, демографических изменений, социальных процессов, образования и культуры, политики и общества. С другой, все эти явления имеют локальную “привязку” и представлены через историю отдельных государств и регионов: империй, национальных государств, колоний и зависимых стран. Мы попытались ответить на один из фундаментальных вопросов всемирной истории: почему Великобритания в XIX в. получила такую власть над миром и стала определять стандарты и тенденции развития Старого и Нового Света? Британский мир представлен в трех измерениях: метрополия – доминионы – колония.

Другим значимым субъектом мировой истории XIX столетия была Россия, для которой этот век стал временем надежд и разочарований. Следы этой эпохи в судьбах Российской империи грандиозны, многогранны и противоречивы. Россия была на редкость разноликой, познала и триумфы, и унижения. История “русского XIX века” – сложный и динамичный процесс, в котором высокие культурные достижения соседствовали с отсталостью, самобытность национального гения – с рутиной и архаикой. Эта противоречивость обусловлена расположением России на пересечении двух культурных миров: Запада и Востока.

Тем не менее при всех трудностях и потрясениях общая тенденция развития России на протяжении века неизменно оставалась восходящей: от самодержавного произвола к началам законности, свободы и демократии. При этом России удалось ответить на многие вызовы модернизации, провести комплекс реформ и стать одной из ведущих держав мира.

Особое место в томе занимает история межгосударственных и международных отношений. Предпринятая после окончания наполеоновских войн попытка создания континентальной системы безопасности (Священный Союз) привнесла равновесие и баланс сил ведущих государств Европы. Священный Союз был попыткой европейских монархов построить такой мировой порядок, который исключал саму возможность возникновения масштабных войн. На многие годы на континенте воцарился мир, и конфликты между странами стали решаться путем соглашений и переговоров. Ключевую роль в оформлении и поддержании этой системы безопасности и равновесия играла Россия. В конце XIX в., с утверждением принципов “реальной политики” и ростом милитаризма, военная сила вновь становится главным фактором мировой политики.

Историк анализирует источники для понимания ментальности периода, общества, культуры, человека. История – это по определению повествование об ушедших, или, как сказал М. Хайдеггер, “об однажды живших”. История – это не только драматический конфликт идей, социальных движений, но и поиск смысла. Просто “объективное” (квантитативное или фактологическое) описание того, что случилось в определенные времена, эпохи, не “работает”. При обращении к историческому анализу событий и процессов XIX в. важно найти баланс между явлениями и тенденциями, между детерминизмом “исторических закономерностей” и прерывистостью, между случайностью и контингентностью истории.

Историк не столько представляет аргумент, факт, сколько предлагает презентацию морального или этического значения событий и явлений. Историописание – это вид дискурса о прошлом или об отношениях между прошлым и настоящим. Главное – не рассуждать юридическими категориями. Правовой подход, четко разделяющий хорошее и плохое, жертв и палачей, приводит к уменьшению интерпретационных смыслов

истории. В изучении прошлого, в попытках социализировать историческую память не должно быть места “ошибкам памяти”, способным перестроить прошлое, чтобы удовлетворить нужды настоящего.

В историописании XIX в. исключительную роль сыграл пафос “канонизации” нации и национального государства. Нация была возведена на пьедестал, национальные нарративы задавали рамки исторического повествования и в XIX, и в XX в. Идея нации, ее культурная и территориальная составляющие стали предметом анализа в работах Б. Андерсона, Э. Геллнера, М. Гроха и Э. Хобсбаума³³. Несмотря на аргументированную критику категории нации-государства социальными историками, нация возвращается как *regretium mobile*, как заранее заданный пункт назначения истории. Но этого недостаточно для изображения всей сложности процессов³⁴.

Исторические рефлексии о XIX в. как эпохе “первой современности”, окрашенные в национальные тона, часто не учитывают более общие имперские, региональные и межнациональные идентичности, рассматривая их лишь как тягостный контекст, в котором “просыпалась”, зрела, боролась за независимость та или иная нация. Такой подход связывает модерную государственность XIX в. только с нациями-государствами. Не учитываются глубинные взаимосвязи национального и имперского проектов, противопоставляются нация-государство и империя как две совершенно разные, несовместимые формы политической организации.

XIX в. был веком империй и национализма, а не только веком наций-государств. Поэтому при определении XIX в. современной исторической наукой должны приниматься в расчет не только национальные векторы, но и многообразие имперских практик.

Начиная с классического труда Э. Гиббона “Закат и падение Римской империи”, история империй писалась ретроспективно как история неуклонного шествия к распаду. На взгляд историков нового и особенно новейшего времени, империя представлялась нелегитимным, следовательно, нежизнеспособным социальным и политическим явлением; доминировал сценарий упадка и распада, телеология неизбежного падения и краха империй.

Для того чтобы концепция XIX в. “работала”, в имперской и национальной историографиях использовались различные параметры: территориальности и языкового единства, имперского права и вероисповедания, лояльности по отношению к империи и соучастия в идее нации. XIX век был ключевым в оценке исторической роли и достижений империй или – назовем их так – “составных государств” (А. Каппелер). Если для одних историков, приверженцев национальных нарративов, XIX столетие было решающей эпохой на пути предначертанного заката империи и различных национальных возрождений, то другие, сторонники имперского подхода, видели в той же эпохе прогрессивную правовую интеграцию, охраняемые конституцией личные права и невиданный культурный расцвет. Эти “другие” работают как будто в других “имперских” временных слоях, если использовать здесь терминологию Р. Козеллека. Подводить итоги конкуренции двух интерпретаций истории XIX в. вряд ли продуктивно. Новые научные данные об эпохе показывают как минимум столько же слоев непрерывности в развитии империй, сколько было траекторий неизбежного упадка. Эти новые находки требуют иной, комплексной теории, для того чтобы придать смысл XIX в., воспринимаемому отныне не в качестве прелюдии к распаду империй³⁵. Здесь уместнее было бы соотносить различные линии развития, нежели выделять одну из них (политическую, экономическую, культурную) или делать общие выводы, основываясь на анализе только своего исследовательского поля. В таком разрезе глобальный

³³ Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001 (англ. изд. – 1983); Gellner E. Nations and Nationalism. Oxford, 1983; The Invention of Tradition. Cambridge, 1983.

³⁴ Филлафер Ф.Л., Сурман Я. Указ. соч., с. 219.

³⁵ Там же, с. 227.

взгляд, глобальный подход к истории “долгого XIX века” видится наиболее продуктивным.

Поскольку концепция тома базируется на категориях глобальной истории, надлежит уточнить некоторые теоретические посылы. Современные исследователи всё чаще обращаются к истории культурных трансферов, а также транснациональной или взаимосвязанной истории. Термин *transnational history* указывает на основополагающую интенцию сторонников соответствующего подхода – преодоление рамок, заданных национальными нарративами. В историографии есть более удачные понятия *histoire croisée*, *entangled histories*, что можно перевести как “переплетающиеся”, “взаимосвязанные истории”. Ведь речь идет о процессах и влияниях, которые преодолевают границы не только формирующихся национальных сообществ, но также империй и других не национальных по своей природе обществ и политических образований. Таким образом, сочетание имперского подхода и национальной истории позволяет обратить внимание на явления и процессы, возникающие на границах разных обществ. Это истории потоков, движения, мобильности, сетевых связей, составляющих основу взаимосвязанной, всеобщей, глобальной истории. Ее подходы не исключают, а переосмысливают нацию и империю как историографические категории³⁶. Исследования последних лет показали, как тесно связаны истории наций и истории империй, ученые преодолели давнюю традицию, адепты которой подчеркивали бинарную оппозицию и различия между колониальными и континентальными империями, уделяя внимание их взаимосвязанным историям, и позволили увидеть имперскую историю, культуру как живую и продуктивную смесь европейских и неевропейских элементов.

В рамках глобального подхода заново получает признание, казалось бы, лежащий на поверхности факт – неразделимость метрополий и колоний, имперских практик на местах и ситуаций внутри самих европейских государств и между ними. Как справедливо отмечает Ф. Купер, европейские колонии никогда не были “пустыми местами”, а европейские государства – “самодостаточными образованиями”, “Европа была создана ее имперскими проектами, подобно тому, как колониальные столкновения определялись конфликтами внутри самой Европы”³⁷. Имперский проект, реализовывавшийся в других мирах, и национальный проект в Европе шли параллельно, дополняя друг друга.

В Европе XIX столетия, в великом историческом переплетении универсализма и национализма, империй и национальных государств перевес, казалось бы, склоняется на сторону последних. После краха наполеоновской системы континент раскалывается, национальные государства множатся и усиливаются, тогда как внутреннее напряжение в континентальных империях (Австро-Венгерской, Османской, Российской) постоянно нарастает. Однако в конце XIX в. на авансцену истории выходят новые формы политического универсализма – колониальные империи, которые создаются в большинстве своем национальными государствами. Универсализм торжествует, но уже не на европейском, а на более высоком уровне, в масштабах всей планеты³⁸.

Если в первой половине XIX столетия колониальная экспансия еще встречала сопротивление и в обществе, и в политических кругах, то к последней трети века большинство европейцев уже гордились своими колониальными империями. Имперская идея и колониальная культура стали важнейшими составляющими массовой культуры. Если прежде колонии рассматривались преимущественно как сфера деятельности военных или место принудительной изоляции антисоциальных элементов, то теперь для населения метрополий они представляются своеобразным “полигоном прогрес-

³⁶ Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917). М., 2010, с. 6–9.

³⁷ Cooper F., Stoler A.L. Between Metropole and Colony: Rethinking a Research Agenda. – Tensions of Empire. Berkeley, 1997, p. 1.

³⁸ Кривушин И.В., Кривушина Е.С. Введение. – Де Бразза П.С. Экспедиции в Экваториальную Африку: 1875–1882. Документы и материалы. М., 2012, с. 9.

са”, где проходят апробирование новые социальные, политические и экономические технологии. И даже церковь, сталкиваясь со всё большей секуляризацией европейских обществ, обращает взор на колонии – в поисках новых прихожан, еще не подвергшихся влиянию атеизма³⁹.

За несколько десятилетий ряд наций-государств переживают впечатляющее превращение в империи, а часть из них – в великие мировые державы. Это преобразование стало результатом глубокой социально-психологической трансформации обществ. Можно сказать, что в последней трети XIX в. западная цивилизация расширяет не только свои пространственные границы, она меняет свою сущность, осознавая себя как доминирующую культуру.

Чтобы реконструировать глобальную историю XIX в., важно постоянно ставить под сомнение сегодняшние самоочевидности, не исключая самых привычных понятий. Возьмем, к примеру, категорию “Запад”. Как христианское “сообщество ценностей”, противопоставлявшееся мусульманскому Востоку, эта категория появилась не ранее 1890-х годов. Известно, что оппозиция Запад – Восток восходит к античным космологиям и пространственному мышлению. Однако категория “Запад” возникла в результате расширения трансатлантической модели цивилизации. Когда сегодня говорят о Западе, то предполагают культурное и мирополитическое равенство европейцев и североамериканцев. Но эта симметрия вовсе не казалась очевидной европейцам рубежа XIX–XX вв. С самого начала идея “Запада” была еще менее связана с территорией, чем идея “Востока”⁴⁰. Должны ли были переселенческие колонии на других континентах (Канада, Австралия, Новая Зеландия) принадлежать к Западу? Как можно отказать в этом статусе латиноамериканским странам с высокой долей населения, происходящего из Европы (например, Аргентине или Уругваю)?

В “долгом XIX веке” о “цивилизованном мире” говорили гораздо чаще, чем о “Западе”. Это было в высшей мере гибкое и практически не привязанное к месту самописание. Его убедительность зависела от того, могли ли те, кто считал себя “цивилизованными”, внушить это другим. Вместе с тем, начиная с середины XIX в., элиты всего мира старались удовлетворить притязания цивилизованной Европы. В Японии признание страны частью “цивилизованного мира” даже стало целью национальной политики. Европеизация и модернизация означали, таким образом, не только выборочное восприятие элементов европейской и североамериканской культур, но и гораздо более серьезные претензии⁴¹.

“Цивилизованный мир” по сути не поддавался пространственному изображению и нанесению на карты. “Цивилизованный мир” и его приблизительный синоним – “Запад” – были не столько категориями пространства, сколько ориентирами в международной иерархии⁴².

Концепция особой культурной миссии Запада, которая восходит как к христианству с его универсализмом и призывом к обращению всех народов в истинную веру, так и к Великой французской революции с ее интенцией распространять среди всех народов идеалы свободы, замешивается в XIX в. на теории расы и, соответственно, расового превосходства. Миссия цивилизованных наций состоит в том, чтобы нести отсталым расам и народам лучшие достижения и своего прошлого, и своего настоящего (успехи науки и техники, законность, идеалы просвещения, демократические институты).

Колониальная экспансия и связанный с ней опыт познания остального мира приобрели в XIX – начале XX в. столь масштабный характер, что впервые в своей истории имперские нации увидели себя в зеркале других народов и цивилизаций. Это не могло

³⁹ Там же, с. 11.

⁴⁰ *Остерхаммель Ю.* Указ. соч., с. 91–92.

⁴¹ Там же, с. 92.

⁴² *Гофман А.Б.* Элитизм и расизм (критика философско-исторических воззрений А. де Гобино). – Расы и народы, вып. 7. М., 1977, с. 128–142; *Conklin A.* Mission to Civilize. The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895–1930. Stanford, 1997; *Остерхаммель Ю.* Указ. соч., с. 92–95.

не сказаться на процессе их самоидентификации и на обосновании идеи цивилизованности, культурности и превосходства. Открытие “новых” миров и “неизвестных” народов позволило жителям метрополий социализировать новое восприятие тех, кто жил за пределами Старого Света. Устанавливая иерархию колонизованных “рас” и, как следствие, ценность их человеческого капитала, теоретический и бытовой расизм способствовал осознанию европейскими народами своей принадлежности к единой нации и формированию их культурной идентичности⁴³.

Безусловно, анализ феномена колониализма не может считаться полным, пока не учтен расовый аспект. Расовую проблему нельзя считать исключительно западной, но и не стоит забывать, что именно европейцы сделали расовый вопрос инструментом политики. Если стержнем расовой концепции, предложенной англичанами, была убежденность в британском превосходстве, то тактикой и политикой расовой доктрины французских колонизаторов стала так называемая гуманистическая цель, помощь отстающим в развитии расам, просвещение темного мира, его приобщение к цивилизации⁴⁴. От В. Гюго до Э. Псишари, от Д.С. Милля до Р. Киплинга развивается идея гуманистической колонизации, основанной на превосходстве европейских наций. В. Гюго по поводу завоевания Алжира написал: “Именно цивилизация идет на варварство. Именно просвещенный народ собирается найти людей в ночи. Мы – греки мира, нам предназначено освещать мир”⁴⁵. Поработить, чтобы цивилизовать – такова ключевая идея расовой войны.

В начале XIX в. термин “раса” не относился еще к группам и этносам, жившим за пределами Европы, но только к тем, кто стоял у истоков ее истории (франки, германцы, норманны). Он отсылал к признакам культуры, различающим цивилизации. В середине XIX в. возникает школа историографии, которая переписывает историю Европы начиная как раз с подобных культурных отличий. О. Тьерри закладывает начало этой школы книгой “История завоевания Англии норманнами”⁴⁶. Историю эту он видит как сражение между двумя расами – норманнами и англосаксами. Такая концепция истории привлекает многих европейских интеллектуалов. Термин “раса”, который в равной степени применяется к франкам и галлам, к германцам и саксам, позволяет теоретикам, рассматривающим историю как расовую конкуренцию, выработать историко-политическую теорию, которая претендует на истинность и неоспоримость и в основу которой заложен тезис о соотношении сил рас. Из подобного понятия “расы”, как очевидное, вытекает идея иерархии рас. Высшая раса – та, что покоряет и навязывает свою культуру другим, оказавшимся на обочине развития и прогресса. Европейская раса, несмотря на ее разнородность, цельна, когда речь идет о сравнении с расами, живущими в Африке, в Азии или в Южной Америке. Колонизация и расовый дискурс формируют единство Севера против Юга.

Столетия рабства породили целый набор терминов, клише и идеологически окрашенных риторических конструкций, чтобы оправдать похищение и депортацию миллионов африканцев. Этот дискурс закрепился, усложнился, а потом стал составной частью колониальной идеи. Научной основой новых расовых теорий оказывается физическая антропология. Понятие “раса” становится одним из ключевых в западной идеологии модерности и империализма. Оно позволяло легитимировать новые социальные стратификации внутри колониальных обществ и отстранять от управления население имперской периферии. Расоизация социальных представлений происходила начиная с XIX в. почти повсеместно в империях и национальных государствах, даже там, где не было “цветного” населения. Ссылки на расовую иерархию стали средствами выражения нового национализма; они структурировали опыт социальных групп, проходящих через кризис индустриализации, урбанизации, в процессе разрушения традиционных обществ.

⁴³ Bancel N., Blanchard P., Vergès F. La République coloniale. Essai sur une utopie. Paris, 2003, p. 101–104.

⁴⁴ Ferry J. Discours à la Chambre, t. 5. Paris, 1885, p. 210–211.

⁴⁵ Цит. по: Hugo V. Choses vues, 1841. – La France colonisatrice. Paris, 1983, p. 49.

⁴⁶ См. Тьерри О. История завоевания Англии норманнами, т. 1–3. СПб., 1859–1868.

Исследуя причины колониальной экспансии европейских держав в Новое время, историки справедливо обратили внимание на то, что имперские проекты не всегда были экономически обусловлены, а вызывались именно националистическими, политическими интересами⁴⁷.

Речь идет об определяющих ценностях и в особенности о процессе появления самоидентификации и осознания национального пространства. Империя участвует в построении национального самосознания, колониальная экспансия становится инструментом национальной политики. Колониальный опыт и расцвет колониальной культуры повлек за собой усиление коллективного чувства принадлежности жителей метрополии к одной нации. Подчеркнем важность данного фактора, так как создание европейских “воображаемых сообществ”, по Б. Андерсону, происходит на основе четких представлений о пространстве и коллективных ценностях, поделенных на большое “Мы” и “Они”. К этим ценностям жителей метрополии добавятся ценности, присущие колониальным народам. В первом случае подразумеваются “позитивные” ценности европейских наций (прогресс, разум, политическое управление, гражданский мир), во втором случае – явления со знаком минус, якобы свойственные неевропейским народам и обществам (застой, упадок, мракобесие, насилие)⁴⁸.

Таким образом, становление империй привело к укреплению национального за счет колониального и к их активному сближению. Но у этого союза есть свое ограничение: нужно сохранять четкое различие между колонизованными народами и жителями метрополии. И почти нет сомнения в том, что подобная цезура, постоянно поддерживаемая на протяжении всего колониального периода, являлась организующей. Колониальная идея – не просто пропагандистское высказывание, своеобразный государственный канон, отношение к власти, а культура, крепко укоренившаяся в европейских обществах и проникшая во все их уровни. Будучи одновременно вездесущей и неуловимой, эта полиморфная по своей сути культура формировала менталитет и коллективное сознание жителей метрополий и имперских центров.

Колонизация, ключевой феномен коммуникативных практик европейских и неевропейских обществ, стала важнейшим инструментом глобализации XIX в. Колонизация всегда состоит из двух компонентов: культурного и политического. Когда речь идет о процессе колонизации, подразумевается, что культурная гегемония и политическое доминирование “работают” вместе, в некоем союзе, соотношении или противостоянии⁴⁹. Новации или элементы современности попадают в жизненный мир традиционного общества и принуждают его к ассимиляции (Ю. Хабермас)⁵⁰. Согласно классическим определениям, колонизация (и колониализм как ее идеологическая система) означает процесс доминирования, в котором переселенцы мигрируют из колонизирующей группы на территорию периферии. Империализм – более широкая форма доминирования, которая не нуждается в подобном переселении (Д. Гобсон). Теоретические определения колонизации не уточняют, должна ли миграция населения происходить внутри имперских или национальных границ или выходить за их пределы и обязательно ли существование этих пределов. В интуитивном понимании и в практическом смысле колонизация означает процесс культурной экспансии, гегемонии, ассимиляции в пределах имперских границ, реальных или воображаемых. Колонизация есть осуществление власти, структурированное различиями: географическими, лингвистическими, культурными и т.д.⁵¹

Колонизаторы и колонизованные в каждой исторической ситуации своими целями, действиями и бездействием взаимно обуславливали характер и динамику соответствующих процессов, заново воспринимали и идентифицировали себя и “другого”, выстраивая социальные границы, выделяя культурные различия. Таким образом,

⁴⁷ См. *Caron J.-C., Vernus M. L'Europe au XIXe siècle. Des nations aux nationalismes 1815–1914.* Paris, 1996, p. 399–400.

⁴⁸ *Bancel N., Blanchard P., Vergès F.* Op. cit., p. 100–101.

⁴⁹ *Эткинд А.М.* Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М., 2013, с. 17.

⁵⁰ *Habermas J.* The Theory of Communicative Action. Cambridge, 1987, p. 355.

⁵¹ *Эткинд А.М.* Указ. соч., с. 18.

непрерывно реализовывалась практика дифференциации, включения и исключения, постоянно шел процесс конструирования и наполнения смыслом данных категорий, не существующих изолированно друг от друга и постигаемых только совместно.

Конечно, колонизация обозначала прежде всего господство, а иногда и уничтожение народов или культур, объявленных низшими, но она же была у истоков установления связей, взаимозависимости, солидарности, ответственности. При этом неевропейские народы имеют собственную историю. Их не следует изучать через призму истории завоевателей, военных, миссионеров или колонизаторов. Важно перестать представлять истории этих народов как вечно и пассивно подчиненные внешним инициативам. В томе мы попытались представить историю Азии, Африки, Америки и Австралии не в качестве коллекции гетерогенных опытов, отражающих разнообразие неевропейских стран, а в качестве значительной части истории единого мира, где все люди, каково бы ни было их происхождение, играли одинаковую роль.

Методологической основой анализа феномена колониализма для нас стала концепция “постколониальной критики” Э. Саида. Начиная с его фундаментального исследования “Ориентализм” (1978)⁵², изучение колониализма, империализма, проблем взаимодействия Востока и Запада вышло в мировой историографии на качественно новый уровень. Были поколеблены европоцентристские концепции прогрессивно-линейного всемирно-исторического процесса. Возникла так называемая “теория колониального дискурса”, деконструкции подверглись прежние гегемонистские представления Запада о Востоке и других неевропейских обществах.

Работы Э. Саида положили начало серии новаторских исследований, в которых были сформулированы концепции “гибридности” и “мимикрии” Х. Бхабхи, “полуориентализма” Л. Вульфа. Нельзя не упомянуть и научную деятельность так называемой Группы исследований субалтерна, породившей целое направление в индийской историографии. Исследования в русле “постколониальной критики” обогащались подходами, разработанными Э. Хобсбаумом и Т. Рейнджером (“изобретение традиций”), Б. Андерсоном (нации как “воображаемые сообщества”).

Сам термин “ориентализм” полисемантичен. Саид выделяет три его значения. Первое – научное (доктрины о Востоке и Восточном, академические знания о Востоке).

Второе – более общее – значение ориентализма заключается в его понимании как стиля мышления, основанного на «онтологическом и эпистемологическом отличии, сделанном между “Востоком” и (в большей степени) “Западом”».

Наконец, в третьем значении ориентализм предстает как “корпоративный институт”, как западный стиль доминирования и осуществления власти над Востоком. В данном понимании ориентализм формируется на рубеже XVIII–XIX вв.⁵³

Основной акцент Саид сделал на изучении ориентализма как системы европейских представлений о Востоке. Но главная заслуга ученого состоит в том, что он сфокусировал внимание на взаимосвязи производства знания и имперской экспансии. Он вывел на первый план проблему роли знаний и науки в имперских проектах ориентализма (как системы репрезентаций “Других”) и империализма (как практики порабощения этих “Других”).

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколения,
Промышленным заботам преданы⁵⁴.

⁵² Said E. *Orientalism*. New York, 1978 (*Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока*. СПб., 2006).

⁵³ Said E. *Op. cit.*, p. 2–3.

⁵⁴ *Баратынский Е.А.* Полное собрание стихотворений. М., 1957, с. 33.

Определение XIX в. как “железного” – не пустая метафора. В ней выражена существенная особенность этой поры расцвета индустриальной цивилизации – расцвета, в котором, по мере приближения к концу столетия, всё явственнее проступали черты “заката Европы” (О. Шпенглер), кризиса всей культуры модерна.

Железо – символ прочности, устойчивости, блеска и одновременно тяжести, жесткости и возникающей то тут, то там разъедающей ржавчины.

В XIX в. произошел мощный промышленный переворот на основе железной паровой машины, ставшей универсальным двигателем в производстве и на транспорте. Железный транспорт – паровозы, пароходы – обеспечивал динамичность прогресса, надежность, прочность связей между мировым центром и периферией.

Качества, присущие железу, стали проявляться и в общественной жизни. Сформировались большие национальные и имперские государства с жесткими системами управления (бюрократией, судом, полицией), сильной центральной властью, большими армиями, требовавшими железной воинской дисциплины и современного оружия. Жесткость и негибкость железа обнаружилась в отношениях между странами и внутри стран, между государствами и людьми. Немецкого канцлера О. фон Бисмарка называли “железным”. Рядовой, обычный человек в государстве всё более ощущал себя винтиком большого сложного механизма⁵⁵.

XIX век высоко ценил свободу, активность, инициативность, деловитость. Человек получал всё больше свободы, всё больше возможностей для самовыражения. При этом одним из главных девизов эпохи был “Закон и порядок”. Расцвет индивидуализма, жажда самоутверждения, даже наживы, имели четкий предел – интерес целого: государства, промышленной или научной корпорации, того или иного социального слоя. На смену страстям XVII, сантиментам XVIII столетий пришел меркантилизм частной жизни. Богатство, деньги уже откровенно становятся выше чувств, переживаний, духовных ценностей. Во всем стал доминировать трезвый расчет. Жесткая железная хватка стала цениться как условие устойчивости жизни, торжества в ней разума⁵⁶.

XIX век выступает с “апологией среднего сословия” (М. Оссовская). Средний класс тяготеет к консервативной разумности, рациональности, бережливости, трезвости, устойчивости. Машинное производство и механизация жизни помогают обеспечить все это, воздействуя на человека и меняя его ценностный мир.

К железной устойчивости в XIX в. поначалу устремлено практически всё: и техника, и наука. Создаются более сложные механизмы, технические системы и сооружения. В науке на эмпирических данных производится обоснование общественных и жизненных систем: экономической (А. Смит, К. Маркс, Ф. Энгельс), биологической (Ч. Дарвин, О. Конт, И.М. Сеченов). Технические и научные инновации ставят своей целью завершенность, эффективность и практичность. К полноте знания, к его определенности стремилась в своих размышлениях о мире и философия XIX в. Г.В.Ф. Гегель, В.С. Соловьёв, Г. Спенсер, Ф.В. Шеллинг так или иначе утверждали ценность свободы человека, свободы, сочетающейся с “порядком ради прогресса” (О. Конт). Люди XIX столетия в своем либеральном идеализме были убеждены, что находятся на прямом и верном пути к “лучшему из миров” (С. Цвейг). Строительство этого нового мира – индустриального и прогрессивного, гуманного и демократического, культурного и цивилизованного, модерна и легитимного – стало главной траекторией развития “долгого XIX века”.

⁵⁵ *Большаков В.П., Завершинский К.Ф.* Своеобразие культуры Нового времени в ее развитии от Ренессанса до наших дней. Великий Новгород, 2000, с. 83–84.

⁵⁶ Там же, с. 84–85.